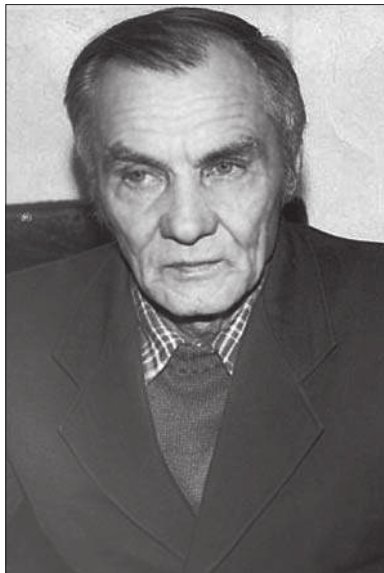


Я помню этот папин портсигар с тех пор, как помню себя. Помню эту чудную блестящую вещицу в руках отца, крышку которой он бережно, под щелчок, открывал ногтем большого пальца. На крышке гравировка: вождь мирового пролетариата сидит на пеньке то ли с книжкой, то ли с газетой в руках, рядом шалаш, костёр, над которым висит котелок... и надпись: «Последнее подполье В. И. Ленина. Сестрорецк. 17 июля 1917 г.».

Когда я была маленькой, видела, как папа насыпал в портсигар самосад, придавливая и уплотняя его пальцем. Табак он выращивал прямо на огородной грядке. То ли семена со временем закончились, то ли к разведению табака папа, как человек увлекающийся, просто утратил интерес — он стал покупать махорку. Если на минуточку-другую отец отлучался и оставлял без присмотра свою драгоценность, я осторожно брала в руки портсигар, гладила пальцами блестящую и холодную поверхность.

Нижняя часть — днище — была рифлёной, а по периметру — выпуклое волнистое обрамление... Эти ощущения от прикосновения к дороговому для папы портсигару сохранились на многие годы...

После ухода папы из жизни портсигар по наследству перешёл к моему старшему брату Павлу, который никогда не курил, да и портсигар в руках держал не чаще, чем я. Более двадцати лет брат хранил его и отцовские награды у себя, а потом как-то за разговором предложил: «Мне некому передать папин портсигар, а это вроде семейная реликвия. У тебя два сына, и они любили деда Филиппа».



**Филипп Павлович Добринский**



**Портсигар. «Последнее подполье  
Ленина»-1**

Так вот и перешла память о дедушке к моему старшему сыну Владимиру, у которого есть наследник — взрослый сын, правнук моего отца.

Для нас, детей, необыкновенная привязанность папы к простой вроде бы вещице была загадкой. Мы слышали, конечно, что портсигар серебряный. Что значило слово «серебряный»

для ребятешек из простой рабочей семьи в послевоенное время? Да ничего. А вот то, что портсигар папа привёз с фронта, вызывало интерес и уважение к самому факту: фронтовой трофеей... Но папка старших моих братьев предупредил: не трепаться! Меня и сестрёнку он в расчёт не брал — малявки.

Мне было лет десять или чуть больше, когда я случайно подслушала историю появления у папы этого портсигара. В субботу у нас в посёлке банный день, с утра дым из бань валит почти в каждом дворе. А папка свою баньку построил не по-чёрному, как у всех, а с печкой и трубой, и потому к нему помыться и попариться с удовольствием приходили приятели. Выскочив из парной (если это была зима), мужики с криками кувыркались в сугробах, а летом устраивались на крыльце; ступени метровой ширины заканчивались у калитки, что открывалась прямо на берег. Распаренные и раскрасневшиеся, они неторопливо, с расстановкой, распивали чекушечку, вели солидные мужские разговоры, иногда, распахнув калитку, бросались в обжигающе-холодную реку...

Незримым свидетелем такого разговора я однажды и была — читала книжку на крыше навеса, что закрывал половину двора. Это место было очень удобным: тебя никто не видит, а ты наблюдаешь за всеми; здесь можно тихонько спастись от многочисленных маминых поручений: сбегай туда, принеси то...

Я читала и одновременно слушала. Говорил почему-то в основном папа, обычно немногословный. Меня насторожила

одна его фраза: «Синявинские болота». У нас в посёлке тоже есть своё болото, и называли его Семёновским, потому что хилые деревянные мостки через эту болотину упирались прямо в забор у дома дяди Семёна Сулейманова. Думая, что папа оговорился, я ждала, что он поправится, но он снова повторил: «Мы, в основном необстрелянные новобранцы, знали только одно: защищаем Ленинград, не пускаем фашистов к городу. С поезда — в строй и пешим макаром прямо на позиции. Местность эта, Синявинские болота, мрачная, почва торфяная, насквозь пропитанная влагой. Начинаешь копать траншею или окоп — и сразу по колено в мутной жиже. Черпали вёдрами, банками, касками, да разве болото вычерпаешь? В сапогах противно хлюпало и чавкало, шинель тяжело давила на плечи, хоть мы в основном молодые, мне тогда вообще двадцать шесть лет было. Иногда по ночам вода между кочками покрывалась тонкой корочкой льда, но приходилось в наспех вырытой землянке или прямо в окопе часами лежать и спать в намокшей шинели».

Именно тогда я услышала, что на фронт рядовой Добринский Филипп Павлович был призван в начале августа 1941 года (что и подтвердила справка из госпиталя). Несколько дней призывников продержали в Канске на формировании, а потом долго везли поездом. Место дислокации — 1236-й стрелковый полк, Ленинградский фронт.

Подвыпив, папа в сердцах и с матом говорил, что прибывших сразу бросили на передовую, что не хватало боеприпасов — на семь человек дали одну винтовку с десятью патронами (!), кухни не было, сухой паёк запивали зловонной водой. Раненых и простудившихся лечить было нечем, парни и взрослые мужики умирали в страшных муках.

«Как-то утром весь командный состав вызвали в штаб, а к полудню фашисты открыли жесточайший миномётный огонь... Столько ребят смешало с грязью, столько молодых солдат, ещё не успевших повоевать, осталось в этом холодном болоте...

...Наконец в ротах зачитали приказ о наступлении. Было это в середине сентября, шёл третий месяц войны. Через зыбкое болото сапёры проложили гать — наскоро сбитый настил из брёвен, но до наступления успели совсем немного: через пару-тройку километров гать сузилась до двух брёвен, продвигались медленно, одну-единственную пушку волокли конём, а его, отощавшего, полуголодного, тянули сами солдаты. Но потом пришлось и пушку оставить...

Неожиданно снова начался миномётный обстрел. Спрятаться негде: взрывы, комья грязи и разорванных тел падали на нас — живых и уже мёртвых. Началась суматошная стрельба без команды, просто из страха, ради собственного спасения. Это и помогло — немцы отступили. Если бы была крупная часть, нас бы просто вдавили и размазали в болоте; видимо, встретилось боевое охранение или засада...

В ожидании мы залегли. Перед рассветом подполз ко мне сержант, что командовал нашей ротой, приказал взять двух ребят и идти вперёд, в разведку. По скользким кочкам и по остаткам гати мы осторожно, где ползком, где согнувшись, короткими перебежками продвигались в темноте к линии фронта...

И тут совсем близко — автоматная очередь. Споткнувшись, я упал лицом в грязь, придавив собой автомат, ребята упали тоже. Подошли фрицы, погыркали на своём языке, сделали ещё очередь. Было тихо, жутко, но, втиснувшись всем телом в мокрую землю, я даже холода не чувствовал. Начинало светать, а мы всё лежали. Не выдержав, я чуть-чуть приподнял голову: метрах в пяти, спиной ко мне, вполголоса разговаривали двое немцев, один из них курил. Дым от папиросы словно отрезвил меня: я опёрся на дрожащих локтях, затёкшими руками вытянул из-под живота автомат и дал короткую очередь. Фрицы упали. И тишина... Я шёпотом по фамилии позвал своих ребят — никто не отозвался, достала их всё-таки автоматная очередь. Стонал только немец, видимо, старший по званию, судя по шинели и лычкам. Понимая, что я этого верзилу как „языка“ живым до своих не дотащу, снял с него полевую сумку, повесил на шею и пополз назад...

Как ответ на мои выстрелы — снова миномётный обстрел; вокруг разрывались мины, а я уже просто бежал: или пан, или пропал...

Допрашивал меня в землянке незнакомый капитан; он уже проверил содержимое планшета, а потому и радости не скрывал. Сказал, что среди документов оказался один очень важный, потом покопался в планшете, выложил на ящик из-под снарядов блестящий портсигар и узкий футлярчик, из которого достал немецкую опасную бритву. „Вот,— сказал он,— твои боевые трофеи“. Покрутил в руках портсигар, внимательно всмотревшись в выдавленный на крышке рисунок, удивился: „А портсигар-то наш, тут на русском языке написано. Видимо, у кого-то из красноармейцев взяли и считали русским

трофеем. А ты, солдат, самого Ленина из фашистского плена вывучил. Бери табакерку, пользуйся".

Со своими трофеями я будто сросся: в портсигар пересыпал махорку из кисета, доставал щепотку табака, крутил самокрутку, а сам всё на Ленина смотрел, что у шалаша сидит. И такое чувство было, что я и вправду его из плена вызволил, а теперь он меня от пуль и осколков оберегает.

Да ты, Андрей, не смотри на меня как на чокнутого — на войне все становятся суеверными, даже те, кто нательные кресты не снимал...

И бритвой немецкой я тоже пользовался. До чего острая: чуть рука дрогнет — боли нет, а кровь выступает.

В конце января всё-таки вражеская пуля прошла мне ладонь и плечо, когда стрелял из винтовки. Шёл, перевязанный, в госпиталь своим ходом позади обоза, но перед небольшой горюшкой лошадь, что с трудом тянула за собой телегу с лежачими ранеными, скользила и спотыкалась на накатанной колее, а мы, ходячие, всем гуртом помогали ей — поддерживали и толкали телегу. Уже почти наверху одна оглобля не выдержала, отлетела в сторону, телега покатила вниз, сбила меня с ног и проехала по бедру... До санбата меня с тяжело ранеными везли на телеге...

Вместо двух-трёх недель, как сказали при оформлении, в госпитале пришлось проваляться почти четыре месяца. Раны зажили быстро, но не прекращалась ни на день кровавая рвота, дикие боли не давали забыться ни днём, ни ночью. Военврач сказал, что открылись в желудке и двенадцатиперстной кишке сразу три язвы. Всё началось ещё в декабре, еда всухомятку не меня одного доводила до желудочных болей. Кухня с



**Портсигар. «Последнее подполье Ленина»-2**

пустым супом и остывшей кашей приезжала раз в сутки — и то, если её в дороге не разбивали вражеские миномёты. Голодные, мы отрезали мёрзлое мясо от павших лошадей, немного давали ему подгореть над костром и ели. Мой желудок такую пищу упрямо не принимал. А в госпитале я мучился даже после обычного крупяного супа или каши. Лечили меня долго, а потом списали вчистую. Всего-то полгода и повоевал на этих злосчастных Синявинских болотах...»

Затаив дыхание, я слушала, Ни одного вопроса не задал и папин приятель Андрей Иванович: думаю, он был поражён этим откровением не меньше меня.

...Поистёрся с годами портсигар, еле заметной стала гравировка на его крышке, с трудом различима надпись... В местах соединения деталей появились щели, через которые высыпалась махорка. Папа тщетно пытался их запаивать, используя в качестве припоя олово. Какое-то время заплатки из олова держались, а потом отваливались. Вот почему папа решил, что портсигар серебряный: он откуда-то знал, что олово не годится быть припоем для серебра, а ничего другого у него не было. А потом папа перешёл на папиросы «Беломор», в конце жизни — на сигареты. И трофейной бритвой он тоже пользовался лет до семидесяти, заточки она не требовала, и острое лезвие не раз оставляло следы на отцовском лице. Сейчас бритва, как память, хранится у моего младшего сына...

А я храню документ, который называется «Свидетельство о болезни», выданный 25 мая 1942 года врачебно-госпитальной комиссией эвакогоспиталя 2572 (г. Кудымкар) рядовому 1236-го стрелкового полка Добринскому Филиппу Павловичу. В документе подробно изложена история ранения и болезни, а в конце написано, что на основании ст. 34, графы 1 НКО СССР от 1940 года № 184 рядовой Добринский Ф. П. не годен к воинской службе с исключением с учёта.

...Много раз за свою жизнь я вспоминала эту историю с трофейным портсигаром, как-то даже с отцом советовалась: «Давай напишу в свою газету про твой портсигар». На что папа твёрдо говорил: «Нет! Чтобы кто-то подумал, что я мародёр, обокрал раненого немца?!» Это был конец семидесятых годов, время, когда старшее поколение ещё по привычке всего боялось. А в 1985 году, в дни празднования сорокалетия Великой Победы, моего отца пригласили в военкомат и вручили орден Отечественной войны I степени (документ № 86 от 6 апреля 1985 года, запись № 1514764993).

«Сдержал слово тот капитан,— подытожил отец,— что допрашивал меня после возвращения из разведки: „За ту карту, солдат, что ты принёс, награда положена“. Но кто тогда, в начале войны, о наградах думал?»

Все послевоенные годы отец вёл активную жизнь: строил дома в посёлке, вся мебель в доме была сделана его мастеровыми руками, он шил на заказ мужские и женские сапоги по собственным колодкам, ремонтировал охотничьи ружья, швейные машинки, часы. Особая страсть отца — музыка и музыкальные инструменты. На наших глазах создавались гармошки, балалайки, мандолины, цимбалы, скрипки... Обладая абсолютным музыкальным слухом, он проверял и настраивал звук, а потом в руках мастера его детища (как говорила мама) пели и рыдали. Последнюю, четвёртую, скрипку отца много лет хранила мама; сейчас скрипка у меня, и я очень надеюсь, что достойным её наследником станет кто-то из моих внуков.

Ушёл мой папа из жизни неожиданно; причина — не солидный возраст, а недуг, приобретённый на Синявинских болотах.